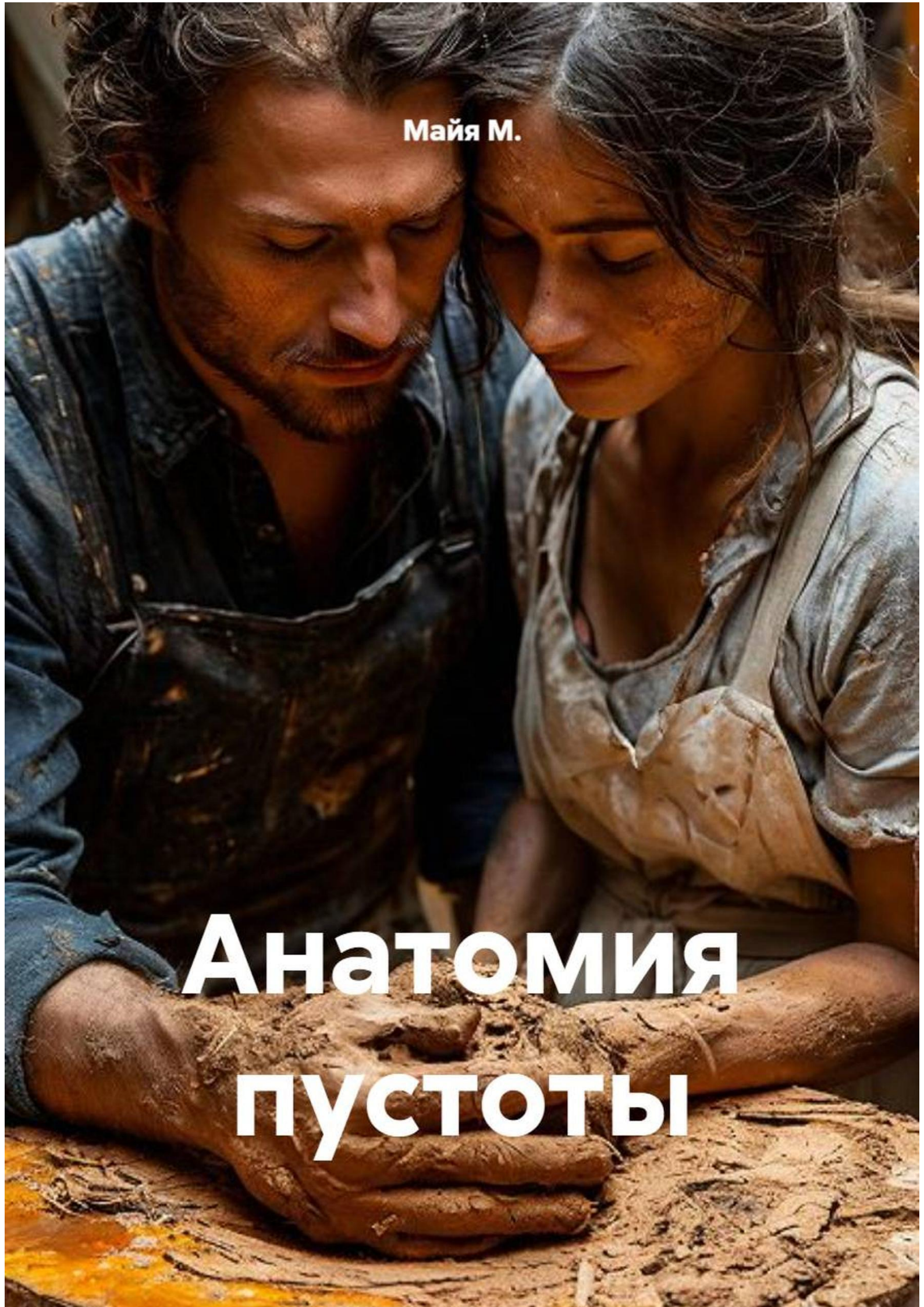


A close-up photograph of a man and a woman, likely potters, working together in a workshop. They are both looking down intently at a piece of clay they are shaping on a pottery wheel. The man, on the left, has a beard and is wearing a dark blue denim shirt. The woman, on the right, has long dark hair and is wearing a light-colored, possibly stained, shirt. Their hands are covered in clay dust, and the air around them appears slightly hazy with fine particles. The lighting is warm and focused on their faces and hands, creating a sense of concentration and craftsmanship.

Майя М.

Анатомия пустоты

Майя М.

Анатомия пустоты

«Автор»

2026

М. М.

Анатомия пустоты / М. М. — «Автор», 2026

Талантливый скульптор Даниил Романов переживает кризис: его руки разучились чувствовать глину. Загадочная Ника никогда не знала прикосновений, но остро воспринимает чужие эмоции. Их встреча в старой мастерской становится началом опасного эксперимента: он пытается «вылепить» из нее чувства через боль и экстаз, она — обрести границы собственного тела. Исцеляя друг друга, они рискуют разрушить себя. Романтическая драма о любви, рожденной из пустоты, и об искусстве, способном воскрешать.

© М. М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Прикосновение к пустоте	5
«Кожа и тень»	16
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Майя М.

Анатомия пустоты

Прикосновение к пустоте

Глава первая

Свет в мастерской умирал медленно, как затихает последняя нота в пустом концертном зале. Даниил Романов стоял у высокого окна, за которым октябрьский дождь превращал город в размытый акварельный эскиз, и смотрел на свои руки. Руки скульптора — длинные пальцы с вьёвшейся под ногти глиной, с сеткой мелких шрамов от резца, с подушечками, которые когда-то умели разговаривать с мрамором. Сейчас они казались ему чужими. Он сжимал и разжимал кулаки, вглядываясь в движение сухожилий под кожей, но не чувствовал ничего, кроме смутного давления изнутри, глухого, словно через толстый слой ваты.

В мастерской пахло сырой глиной, скипидаром и пылью — запахами, которые пятнадцать лет были его воздухом. Вдоль стен выстроились незавершенные работы: торс женщины без головы, застывший в мучительном изгибе; мужская фигура с наполовину проработанным лицом, второй глаз лишь намечен, смотрит в вечность пустой глазницей; детские руки, тянущиеся из бесформенной массы, — заказ, который он не мог закончить уже полгода. Все это было похоже на кладбище замыслов, и он, сторож этого кладбища, разучился воскрешать.

Даниил отошел от окна и приблизился к бюсту, укрытому влажной тканью. Это должна была быть Аглая — балерина Мариинского театра, чье лицо, казалось, соткано из света и напряжения. Он сдернул ткань. Глина еще не высохла, поверхность матово блестела в скупом освещении. Бюст был почти готов: высокие скулы, капризный изгиб губ, шея, напряженная, как перед прыжком. Почти — но не совсем. Оставалась работа над текстурой кожи, теми микроскопическими неровностями, порами, складками век, которые отличают гиперреализм от простого портретного сходства. Раньше он мог неделями вылизывать поверхность, добиваясь иллюзии жизни, проводя пальцами по глине с закрытыми глазами и «видя» форму кончиками нервов. Теперь же, когда он прикоснулся к скуле Аглаи, подушечки пальцев сообщили лишь одно: скользко. Влажно. И все. Ни упругости материала, ни микрорельефа, ни того трепета узнавания, когда глина будто сама подсказывает, куда двигаться дальше.

Он убрал руку. Внутри поднялась знакомая волна тошнотворной пустоты. Месяц назад он еще верил, что это временное — переутомление, нервное истощение, последствия разрыва с Верой. Он пил витамины, пробовал медитировать, даже съездил на неделю к морю, где часами перебирал гальку, пытаясь оживить онемевшие нервы. Галька оставалась просто камнями — гладкими или шершавыми, но не более. Тогда он впервые всерьез испугался. Скульптор без осязания — как скрипач без слуха. Можно смотреть, можно помнить теорию, но живое искусство рождается только через контакт, через диалог между ладонью и материей.

Он сел на заляпанный гипсом табурет и потер лицо. Щетина колола ладони — это он еще чувствовал, как и боль, тепло, холод. Глубинная чувствительность сохранилась. Утратилось другое — та особая, почти мистическая способность различать оттенки поверхности, которую он сам называл «кожным зрением». Когда он пытался объяснить это Вере, она смеялась: «Ты просто устал, Данечка. Поезжай в горы, подыши воздухом». Вера ушла три месяца назад, забрав с собой не только свои вещи и запах духов, но и, как ему казалось, часть его дара. Он не любил признавать эту зависимость, но правда состояла в том, что именно ее тело, ее кожа, ее присутствие были его главной натурой. После расставания мир стал плоским, словно с него содрали рельеф.

Дождь усилился. Капли барабанили по стеклу, стекали кривыми дорожками, искажая вид на соседнюю крышу. Даниил поднялся, подошел к стеллажу с инструментами. Стеки, петли, шпатели, скальпели — холодный металл, отполированный годами. Он взял самый тонкий стек с загнутым кончиком, предназначенный для проработки век. Покрутил в пальцах. Ничего. Просто кусок стали. Раньше каждый инструмент имел свой характер, свой «почерк» — он чувствовал, как металл соприкасается с глиной, как передает малейшее движение. Теперь же рука двигалась механически, по памяти, без той обратной связи, что превращает ремесло в искусство.

Он бросил стек на стол. Звук упавшего металла показался оглушительным в тишине. Даниил оглядел мастерскую, и ему почудилось, что незаконченные фигуры смотрят на него с укором. Они ждали завершения, ждали его рук, способных вдохнуть в них подобие жизни, — но руки предали. Он вспомнил, как лет десять назад, еще студентом, впервые ощутил этот восторг: глина под пальцами оживала, откликалась, вела его. Он мог лепить с закрытыми глазами, и результат выходил точнее, чем у однокурсников, корпевших с линейками и циркулями. Профессор Ланской, седой скульптор старой школы, тогда сказал: «У тебя, Романов, пальцы видят. Береги это. Такое либо дается от рождения, либо не дается вовсе». Он берег. И вот — потерял.

Зазвонил телефон. Даниил не хотел брать трубку, но аппарат звонил настойчиво, вибрируя на подоконнике. Он взглянул на экран: Гала, его галеристка. Энергичная, как электро-веник, женщина с безошибочным чутьем на деньги и с абсолютной глухотой к творческим терзаниям. Они работали вместе шесть лет, и до недавнего времени это сотрудничество было плодотворным: Гала продавала, он творил. Но теперь каждый ее звонок напоминал о невыполненных обязательствах.

— Да, — ответил он, прижав аппарат плечом к уху.

— Данечка, золотце, ну как там наша балерина? — Гала говорила так, словно каждое слово покрыто сахарной глазурью, но под глазурью скрывался стальной каркас. — Заказчики звонят, они хотят видеть работу. Я им сказала, что ты как раз на финишной прямой. Это ведь так?

Даниил посмотрел на бюст Аглаи. Глаза балерины глядели в потолок, пустые, хотя веки были уже почти готовы. Почти — проклятое слово.

— Почти, — произнес он вслух. — Осталось немного.

— «Немного» — это сколько? — Гала умела вытягивать суть даже из самых уклончивых фраз. — Неделя? Две? Ты же знаешь, они хотят приурочить презентацию к премьере «Жизели». Если ты затянешь...

— Я не затягиваю. Работа идет.

Молчание в трубке было красноречивее любых слов. Гала вздохнула — так вздыхают мамы двоечников.

— Даниил, я тебя умоляю. Ты мой любимый художник, ты гений, но гении тоже должны есть. И платить за мастерскую. У тебя еще висит заказ на парную композицию для банка, помнишь? И эта твоя, как ее, «Скорбящая» для частного собрания. Если ты не сдашь Аглаю в срок, я не смогу удержать клиентов.

Он знал это. Знал и то, что банковская композиция — абстрактный кошмар из металла и стекла — вообще не двигалась с места, потому что он не мог почувствовать форму даже в эскизе. А «Скорбящая», задуманная как обнаженная женская фигура в натуральную величину, оставалась лишь проволочным каркасом в углу мастерской, опутанным паутиной.

— Я сдам, — сказал он. — Дай мне немного времени.

— У тебя было полгода. — В голосе Галы прорезался металл. — Полгода, Даниил. Я понимаю творческие кризисы, но есть контракты. Ты же профессионал.

Профессионал. Слово резануло по живому. Да, он профессионал, именно поэтому не может позволить себе выставить посредственность. Но как объяснить Гале, что его профессионализм покоился на том, чего больше нет? Что он разучился чувствовать глину?

— Позвоню через три дня, — отрезала Гала. — И, пожалуйста, никаких сюрпризов. Целую.

Отбой. Даниил положил телефон на подоконник и снова уставился в окно. Дождь превратился в ливень. Потоки воды заливали стекло, искажая перспективу, — теперь город за окном казался оплывающим, как неудачная отливка. Все оплывало, теряло форму. Его жизнь тоже.

Он прошелся по мастерской, трогая предметы: шершавый бок гипсового слепка, холодную глазурь старого чайника, ворсистую обивку продавленного кресла. Фактуры узнавались скорее умом, памятью о том, какими они должны быть на ощупь. Но это было как читать описание вкуса, не пробуя блюда. Бледная тень реальности.

В углу, под наброшенной простыней, громоздилась «Скорбящая». Даниил подошел к ней, сдернул ткань. Металлический каркас, обмотанный проволокой, с первым слоем грубой глины, нанесенной еще в те времена, когда руки жили. Он прикоснулся к поверхности — неровной, бугристой, как окаменевшая лава. Ощущение было все тем же: давление изнутри, смутное сопротивление, но без деталей. Будто пальцы обернуты пищевой пленкой.

Он попытался вспомнить, что хотел выразить этой фигурой. Женщина, потерявшая нечто бесконечно дорогое, — но не плачущая, не заламывающая руки. Скорбь, застывшая в камне. Обнаженное тело, лишенное защиты, и в то же время замкнутое, как раковина. Идея казалась ему ясной, пока он лепил каркас. Теперь же, глядя на неоформленную массу, он не видел ничего, кроме анатомической ошибки в наклоне плеч, которую не мог исправить, потому что не чувствовал, куда именно нужно надавить. Руки слепы.

Он опустился прямо на пол, прислонившись спиной к стене. Глина была холодной, холод просачивался сквозь джинсы, но он не двигался. Ему вспомнилось начало — то время, когда каждое утро было обещанием открытия. Они с Верой только познакомились, и он лепил ее бесконечно: ее кисти, стопы, изгиб позвоночника, впадинку на пояснице. Он мог узнать ее с закрытыми глазами, проводя ладонью по ее коже, и перенести эту память в глину. Глина становилась Верой, а Вера становилась его искусством. Их роман был не просто любовью — это был симбиоз, в котором желание и творчество питали друг друга. А потом что-то сломалось. Вера устала быть музой, ей надоело, что он видит в ней не женщину, а натуру, что он вечно изучает ее, как анатомический атлас. «Ты любишь не меня, — сказала она перед уходом, и в голосе ее звенели слезы. — Ты любишь форму. А я живая, Даниил. Живая!» И хлопнула дверь.

Он не бросился ее возвращать. Возможно, потому что в глубине души понимал: она была права лишь отчасти. Он любил и ее саму, но грань между любовью и творческим поглощением стерлась. Он не умел отделять женщину от линии ее бедра, от того, как падает свет на ключицу. Без этой способности он не был бы скульптором. Но с ней он оказался неспособен сохранить любовь. Парадокс, который убил и чувство, и дар.

Сейчас, сидя на холодном полу, он думал о том, что потеря осязания началась именно после ухода Веры. Не сразу, но постепенно. Сначала перестал чувствовать тонкие нюансы — зернистость мрамора, вязкость глины разной влажности. Потом — и грубые различия. Теперь он держал в руках кусок глины и не мог с уверенностью сказать, теплая она или просто комнатной температуры, пока не прикладывал к щеке, где кожа еще сохраняла остатки нормальной чувствительности. Врачи разводили руками: неврологических патологий нет, анализы в норме,

МРТ чистое. Психосоматика — произнес один из них с осторожной улыбкой. Психосоматика. Душа, ранившая тело.

Даниил поднялся с пола. Хватит. Он не мог больше сидеть в четырех стенах, слушая дождь и собственную беспомощность. Нужно было выйти, вдохнуть влажный осенний воздух, смешаться с толпой, которая, возможно, вернет ему ощущение реальности. Он накинул плащ, сунул ноги в стоптанные ботинки и вышел, не заперев дверь — воровать в мастерской было нечего, кроме его неудач.

Город встретил его косым дождем и запахом прелой листвы. Даниил шел по набережной, подняв воротник, и смотрел под ноги, на мокрый асфальт, отражающий желтые огни фонарей. Люди обтекали его, спеша по своим делам, и он чувствовал себя неуместным, как забытая статуя на площади. Ему было тридцать семь. Возраст, когда многие художники достигают пика формы, — у него же форма уходила, как вода в песок.

Он зашел в кофейню на углу, скорее по привычке, чем по желанию. Взял черный кофе, сел у окна. За соседним столиком девушка с асимметричной стрижкой что-то печатала в телефоне, и ее пальцы двигались с отточенной скоростью. Даниил поймал себя на том, что разглядывает ее руки: длинные, с тонкими запястьями, с выступающими венами. Руки, которые живут. Он попытался представить, как лепил бы эти пальцы, как прорабатывал бы каждый сустав, каждую складочку кожи над костяшками. Мысль была привычной, профессиональной, но лишенной того острого вдохновения, что прежде пронзало его при виде интересной натуры. Просто холодная механика.

Он пил кофе и вспоминал текст объявления, которое вывесил накануне на нескольких интернет-площадках для художников и моделей. «Скульптор ищет натурщицу для длительной работы. Требования: выразительная пластика, готовность к позированию обнаженной, нестандартная внешность приветствуется. Оплата высокая». Он не стал писать «гиперреалист» — это отпугивало девушек, которые представляли себе романтический образ художника, а не человека, который будет часами изучать поры на их коже. Несколько откликов уже пришло, но, просматривая фотографии, он не чувствовал ничего, кроме усталости. Симпатичные, стандартные, с одинаковыми улыбками и одинаковыми же страхами: «А можно в купальнике?», «А долго придется стоять?», «А вы не извращенец?». Он отвечал вежливо, объяснял специфику, но внутри все сжималось от тоски. Ему нужна была не просто модель. Ему нужна была женщина, которая вернет ему осязание. Но как объяснить это в объявлении?

Допив кофе, он вышел под дождь и побрел обратно. Вечерело. Осенние сумерки сгустились рано, зажигая витрины и фонари. Даниил прошел через сквер, где мокрые листья облепили скамейки, и свернул в переулок, ведущий к его дому-мастерской. Старый кирпичный особняк, перестроенный под лофты, высился в глубине двора. На первом этаже — его мастерская, с отдельным входом, над ней — квартира, куда он поднимался только ночевать.

Подойдя к двери, он заметил, что она приоткрыта — та самая дверь, которую он в сердцах не запер. Он толкнул створку и вошел, ожидая увидеть все, что угодно, — от бомжа до любопытных соседей. Но внутри, в полутьме, освещенная только уличным фонарем, стояла незнакомая девушка.

Она стояла посреди мастерской, среди его незавершенных работ, и казалась частью этой композиции — неподвижная, закутанная в длинный темный плащ, с которого стекала вода. Капюшон был откинут, открывая светлые, почти пепельные волосы, собранные в небрежный узел. Лица Даниил не мог рассмотреть — оно было обращено к «Скорбящей», укрытой теперь тканью. Девушка протянула руку и касалась проволочного каркаса, выглядывающего из-под покрывала, и в этом жесте было что-то такое, отчего Даниил замер на пороге. Она трогала металл не так, как трогают незнакомый предмет — с осторожностью или любопытством. Она водила пальцами по ржавой проволоке медленно, словно читая шрифт Брайля, и в ее позе ощущалось напряженное, почти болезненное внимание.

— Простите? — произнес он громче, чем собирался.

Девушка не вздрогнула. Она обернулась плавно, без резких движений, и тогда Даниил увидел ее лицо. Ему почему-то вспомнились ранние портреты Модильяни — та же удлиненность форм, та же асимметрия, которая не уродовала, а придавала завораживающую странность. Высокий лоб, бледная, почти прозрачная кожа, глаза светлые, но какого именно цвета — в полутьме не разобрать. Губы бледные, плотно сжатые. Выражение лица было неподвижным, словно у статуи, и от этого неподвижного взгляда у Даниила по спине пробежал холодок.

— Вы Даниил Романов? — спросила она. Голос оказался неожиданно низким для такой хрупкой фигуры, ровным, без интонационных перепадов.

— Да. А вы кто? Как сюда попали?

— Дверь была открыта. Я прочитала ваше объявление. Я могу быть вашей моделью.

Она говорила короткими фразами, без обычных в таких случаях реверансов. Не «я хотела бы попробовать», не «возможно, я вам подойду» — просто «я могу». Даниил прошел в глубь мастерской, щелкнул выключателем. Вспыхнул свет, заливший пространство резкой белизной, и теперь он мог рассмотреть незваную гостью подробнее. Ей было лет двадцать пять — двадцать семь. Худоба, граничащая с болезненностью, но не вызывающая жалости — скорее ощущение хрупкой, натянутой струны. Под плащом угадывалось простое черное платье, на ногах — тяжелые ботинки, какие носят туристы. Она не красилась, и ее лицо в резком свете ламп казалось не просто бледным — оно было почти бесцветным, как старый дагерротип.

— Вообще-то принято сначала писать или звонить, — заметил Даниил, стягивая мокрый плащ. — Но раз уж вы здесь... Как вас зовут?

— Ника.

— Красивое имя. А дальше?

— Просто Ника. Фамилия вам не понадобится, если я вам не подойду.

Он усмехнулся про себя. Самоуверенность или безразличие? Трудно было понять. Он повесил плащ на крюк и жестом предложил ей сесть в единственное кресло. Она не села. Осталась стоять, и теперь ее взгляд переместился на бюст Аглаи, открытый и беззащитный в своей незавершенности.

— Это ваша работа? — спросила Ника.

— Да.

— Она живая, но чем-то обижена.

Даниил замер. Он никогда не рассказывал об Аглае посторонним, а девушка попала в точку: балерина действительно была обижена на него — за то, что он не может ее закончить, за то, что заморозил в этом промежуточном состоянии между глиной и плотью. Он подошел ближе к Нике, встал напротив, разглядывая ее с бесцеремонностью скульптора, привыкшего оценивать натуру. Ключицы, выступающие над вырезом платья, — красивая линия. Шея длинная, с заметной жилкой. Угол нижней челюсти — четкий, но не грубый. Лепка лица — интересная: скулы, подбровные дуги, излом губ. Все это он отмечал механически, профессионально, но где-то на периферии сознания зрело иное впечатление — смутное беспокойство, вызванное ее неподвижностью. Она не моргала подолгу. Не переминалась с ноги на ногу. Не поправляла волосы. Она стояла, как стоит изваяние, — абсолютный покой.

— Вы раньше позировали? — спросил он.

— Нет.

— Почему же решили попробовать? Деньги?

Она чуть склонила голову к плечу. Жест вышел механическим, словно у заводной куклы.

— Мне не нужны деньги. Мне нужно... почувствовать.

Он не сразу нашелся что ответить.

— Почувствовать что?

— Хотя бы что-нибудь.

В ее голосе не было ни пафоса, ни жалобы — только констатация. Так говорят о погоде или о расписании поездов. Даниил почувствовал, как внутри шевельнулось то самое, почти забытое, — предчувствие открытия. Оно было слабым, как первый толчок прорастающего зерна, но он его узнал.

— Поясните, — попросил он, усаживаясь на край стола, чтобы оказаться с ней на одном уровне.

— Зачем? Вы же скульптор. Вам интересна форма. Моя форма перед вами. Какая разница, что я чувствую или не чувствую?

— Разница есть. Выражение лица, поза, микродвижения — все это рождается изнутри. Если я буду лепить вас, мне нужно понимать, что внутри. Иначе получится кукла.

Она чуть прищурилась — кажется, это была усмешка, но одними глазами.

— А если я и есть кукла? Если внутри ничего нет?

Повисла пауза. Дождь за окном перешел в ровный шум, заполнивший тишину. Даниил смотрел на девушку и все явственнее ощущал странность происходящего. Она явилась без звонка, проникла в незапертую мастерскую, говорила загадками — но не уходила. И он не гнал ее. Более того, он поймал себя на желании, чтобы она осталась. В ней было нечто, чего он не встречал раньше ни в одной натурщице, — полное, абсолютное отсутствие кокетства, страха, смущения. Она была здесь и одновременно не здесь, как отражение в темном стекле.

— Если внутри ничего нет, — медленно произнес он, — то мне нечего лепить. Я работаю с живыми людьми. Мертвую натуру я могу взять в анатомическом театре.

Слова вышли жестче, чем он хотел. Но Ника не обиделась. Она подошла к «Скорбящей» и снова протянула руку — на этот раз к глиняному боку фигуры.

— Можно? — спросила она, не оборачиваясь.

— Трогайте.

Она положила ладонь на шершавую поверхность. Даниил следил за ней. Пальцы Ники легли на глину плашмя, без давления, без поглаживания. Просто прикоснулись и замерли. Прошло пять секунд, десять. Он уже хотел спросить, в чем дело, когда она вдруг отдернула руку, словно обжегшись.

— Что? — он подался вперед.

— Ничего, — ответила она, но в голосе появилась еле уловимая трещина. — Абсолютно ничего. Она мертвая.

— Это просто глина. Она не может быть живой или мертвой.

— Вы ошибаетесь. — Ника наконец обернулась к нему, и теперь он увидел ее глаза вблизи. Они были серыми, прозрачными, как лед на весенней луже. — Эта глина была живой,

пока вы ее лепили. Она помнит ваши руки. Но сейчас вы к ней не прикасались очень давно, и она... застыла.

Даниил почувствовал, как по затылку пробежали мурашки. Кто она, эта странная девушка? Откуда такие слова? Мистика, подумал он с раздражением. Но раздражение не отменяло того факта, что она сказала правду: он не прикасался к «Скорбящей» несколько недель, да и до того трогал вяло, без души.

— У вас богатая фантазия, — произнес он сухо. — Но я спросил вас о другом. Что значит «почувствовать хотя бы что-нибудь»?

Ника отошла от скульптуры и встала посреди мастерской, под лампой. Сейчас она походила на свидетельницу в зале суда — прямая, серьезная, собранная.

— У меня редкое расстройство, — сказала она ровным, бесцветным голосом. — Тактильная анестезия. Я не чувствую прикосновений. Вообще. Моя кожа не передает мозгу сигналы о касаниях, давлении, текстуре. Я могу закрыть глаза, и если кто-то дотронется до моего плеча — я не узнаю об этом, пока не увижу. Я не различаю горячее и холодное кожей, только глубокими тканями, если воздействие достаточно сильное. Я не чувствую боли от пореза, не ощущаю ткани одежды, не знаю, что значит — гладить рукой шелк или держать в ладони теплый камень.

Она говорила, как лектор, зачитывающий статью из медицинского справочника, но в самой этой отстраненности сквозило такое чудовищное одиночество, что у Даниила перехватило горло. Он, скульптор, для которого осязание было главным каналом связи с миром, вдруг вообразил себе жизнь без него — и ужаснулся. Это как ослепнуть. Как оглохнуть. Как лишиться половины души.

— С рождения? — спросил он глухо.

— Да. Врачи говорят — врожденная сенсорная невропатия. Редкий случай. Но у моего варианта есть особенность. — Она сделала паузу, и впервые за весь разговор ее лицо слегка изменилось: брови сдвинулись, словно она собиралась с силами. — Я не чувствую кожей, зато чувствую... другое. Эмоции. Не свои, а чужие. Я нахожусь рядом с человеком и знаю, что он испытывает. Это не чтение мыслей, скорее... эманация. Как если бы каждый человек звучал. Кто-то — скрипка, кто-то — виолончель, кто-то — расстроенное пианино. А некоторые молчат. Как эта глина.

Даниил молчал. История звучала невероятно, но почему-то он ей верил. Может, потому что в ее словах не было ни капли рисовки, ни малейшего желания поразить. Она просто констатировала. А может, потому что сам он, потеряв осязание, будто бы начал догадываться о существовании иных, неведомых каналов восприятия. Он не был мистиком, но искусство приучило его к тому, что реальность сложнее любых учебников.

— Вы пришли ко мне, чтобы я... что? — спросил он наконец. — Вылепил ваш портрет? Зачем это вам, если вы не чувствуете?

Ника сделала шаг к нему. Теперь они стояли совсем близко — он у стола, она напротив, и он чувствовал исходящий от нее холод, хотя в мастерской было тепло. Или это ему казалось?

— Я хочу почувствовать свое тело, — произнесла она тихо, но с такой интенсивностью, что каждое слово будто врезалось в воздух. — У меня есть тело, но я его не ощущаю. Я вижу его в зеркале, я могу им управлять, но оно как чужой костюм. Я не знаю, где мои границы. Иногда мне кажется, что меня вообще нет. Что я просто сгусток сознания, парящий в пустоте. А вы, — она вскинула на него глаза, и в серой глубине что-то дрогнуло, — вы работаете с телом. Вы умеете возвращать плоть глине, делать мертвое живым. Я подумала: если вы будете лепить меня, может быть, я смогу через вас... воплотиться.

У Даниила пересохло во рту. Он пытался осмыслить услышанное, и в голове мелькали обрывки: это безумие, это невозможно, зачем она мне, что я могу? Но помимо рассудка в

нем уже проснулось иное — темное, голодное любопытство художника. Девушка с мраморной кожей, не чувствующая касаний, но видящая эмоции. Живой слепок. Совершенная натура для того, кто утратил осязание. Они как две половинки сломанного механизма — у одной нет входа, у другой выхода. Может, совместившись, они замкнут цепь?

— Вы понимаете, — сказал он хрипло, — что сеансы позирования — это долгие часы неподвижности? Что мне придется вас трогать, изучать ваше тело, чтобы перенести его в материал? Что вам будет, вероятно, скучно, неудобно, холодно — но вы этого даже не заметите? Что это может быть... мучительно?

— Мучительно — это хорошо, — спокойно ответила она. — Боль — это сигнал. Если я смогу почувствовать боль, значит, я еще существую.

Он смотрел на нее, пытаясь найти признаки безумия, но видел лишь холодную, почти стеклянную ясность. Она не была сумасшедшей. Она была предельно, пугающе разумна.

— Хорошо, — сказал он, принимая решение быстрее, чем привык. — Допустим, я возьму вас моделью. Что вы хотите получить в итоге? Скульптуру? Это займет недели. Месяцы. Вы готовы посвятить этому столько времени?

— Время не имеет значения. Оно для меня течет иначе. Я готова на все, что вы сочтете нужным, если это поможет мне ощутить собственные границы.

«На все», — мысленно повторил Даниил, и эти слова аукнулись в нем смутным, почти эротическим эхом. Он подавил его, напомнив себе, что перед ним — глубоко больной человек, ищущий исцеления. Но художник в нем уже делал стойку, как гончая, почуявшая дичь. Нет — не дичь. Скорее скульптор, нашедший редчайший кусок мрамора, в котором таится совершенная статуя.

— Тогда давайте проведем пробу, — предложил он, стараясь, чтобы голос звучал буднично. — Я попрошу вас раздеться до белья и встать на подиум. Мне нужно оценить пластику.

Ника кивнула — коротко, по-деловому. Не смущаясь, она сбросила плащ прямо на пол. Тот упал мокрой кучей. Затем, не глядя на Даниила, она стянула через голову платье — под ним оказалось простое хлопковое белье телесного цвета, без кружев и украшений. Она сняла тяжелые ботинки, оставшись босиком, и поднялась на деревянный подиум в центре мастерской — круглую площадку, вытертую ногами десятков моделей.

Даниил отступил на несколько шагов, чтобы видеть ее целиком. И замер.

Она была прекрасна той особой, нездешней красотой, которую редко встретишь в жизни. Худоба не выглядела болезненной — скорее, утонченной, как у готических мадонн. Плечи — покатые, ключицы — как крылья птицы. Грудь небольшая, с нежной голубизной вен под полупрозрачной кожей. Талия узкая, живот плоский, с едва заметной ложбинкой посередине. Бедра — мальчишеские, но в их линии таилась скрытая женственность, как обещание. И ноги — длинные, с острыми коленями, с выступающими косточками лодыжек.

Но поразила Даниила не сама красота. Поразила неподвижность ее тела. Человек не может стоять настолько статично — всегда есть микроскопические покачивания, подрагивания мышц, сглатывание, моргание. Ника же стояла как мраморное изваяние. Ее кожа в резком свете ламп казалась матовой, без единого изъяна, и Даниил поймал себя на мысли, что хочет прикоснуться к ней, чтобы проверить — не холодная ли она на ощупь? Потому что выглядела она именно холодной, как статуя в зимнем саду.

— Вы замерзли? — спросил он, заранее зная ответ.

— Я не знаю. Мне не холодно. И не тепло.

Он подошел ближе, остановился в метре от подиума. С этого расстояния было видно, что по коже у нее не бегут мурашки, хотя в мастерской было не больше восемнадцати градусов — Даниил специально не включал обогреватель, чтобы глина не сохла слишком быстро. Он

протянул руку и осторожно, как касаются дикого зверя, притронулся кончиками пальцев к ее плечу.

Кожа оказалась теплой. Обычная человеческая кожа, мягкая, с едва уловимым пушком. Ника не дрогнула, не перевела взгляда. Ее зрачки были направлены куда-то в стену за его спиной.

— Вы чувствуете мое прикосновение? — спросил он, хотя уже знал ответ.

— Нет.

— Совсем?

— Совсем. Но я знаю, что вы прикасаетесь. Я вижу.

Он убрал руку. Потом, повинувшись безотчетному импульсу, сильно надавил пальцем на то же место — настолько сильно, что под ногтем должен был остаться след. Ника не шелохнулась. Только спустя пару секунд спросила:

— Вы сделали что-то еще?

— Я надавил. Довольно сильно. На вашей коже останется синяк.

— Жаль, что я не могу его ощутить. Синяки — это хоть какое-то свидетельство, что тело существует.

Он отступил, чувствуя, как сердце колотится в груди. Это было невероятно. Возбуждающе. Страшно. Она не лгала. Она действительно не чувствовала ничего — ни легкого касания, ни боли. Перед ним стоял живой человек с мертвой кожей, и где-то на задворках его сознания уже зрела темная мысль: а что если попробовать пробить эту стену? Что если найти способ, которым можно достучаться до ее нервов, до ее эмоций, до ее запертого «я»? Ведь она сама сказала — «мучительно это хорошо».

Он оборвал себя. Не сейчас. Сейчас — только работа.

— Хорошо, — сказал он, отходя к столу и беря в руки мягкий графитовый карандаш и большой лист бумаги. — Я сделаю несколько набросков. Пойдите так. Можете опустить руки вдоль тела. Смотреть прямо перед собой.

Она подчинилась. Даниил начал рисовать, и рука двигалась по бумаге почти автоматически — сработала многолетняя мышечная память. Линия плеча, изгиб талии, падение тени под ключицей. Но он то и дело ловил себя на том, что смотрит не на ее тело как на форму, а внутрь него, пытаясь представить, каково это — существовать, не ощущая собственной оболочки. Быть призраком в мире плоти.

За окном совсем стемнело. Дождь стих, уступив место ветру, который завывал в водосточных трубах. В мастерской горела только одна лампа, и от этого углы тонули во мраке, а подиум с девушкой казался островком света в океане теней. Даниил рисовал, но мысли его скакали. Он вспоминал слова Ники о том, что она чувствует эмоции, и вдруг задал вопрос, не поднимая головы:

— Что вы ощущаете сейчас? От меня?

Пауза. Карандаш скрипел. Затем ее голос, ровный, но с какой-то новой ноткой:

— Вы возбуждены. Но не сексуально. Скорее... вы как ребенок, который нашел новую игрушку. И одновременно вы боитесь. Вас пугает то, чего вы не понимаете.

Он перестал рисовать и поднял глаза. Она стояла все в той же позе, но теперь смотрела прямо на него, и в ее прозрачных глазах мелькнуло что-то похожее на понимание — или на его тень.

— Вы хорошо читаете, — сказал он сухо.

— Это не чтение. Это как слышать музыку. У вас сейчас тональность — ми минор. Меланхолия и предвкушение.

Он отложил карандаш. Подошел к подиуму. Теперь они смотрели друг на друга в упор, и в этом взгляде не было ни флирта, ни враждебности — только взаимное, жадное изучение. Два исследователя, обнаружившие друг в друге недостающие части пазла.

— Я хочу предложить вам нечто большее, чем просто позирование, — сказал он тихо. — Я хочу сделать вас своей постоянной моделью. Но не обычной. Я хочу... вылепить вас. Не просто портрет. Я хочу попытаться через работу с вашим телом, через глину, через прикосновения — достучаться до ваших нервов. Возможно, если я буду достаточно... интенсивен, ваша кожа вспомнит, что она живая. А вы, — он сделал паузу, — вы будете моими руками. Вы будете рассказывать мне, что вы чувствуете внутри — эмоции, вибрации, все то, что вам доступно. А я буду переводить это в форму. Мы создадим нечто вместе. Не просто скульптуру. Новое тело. Новое ощущение.

Ника слушала, не перебивая. Ее лицо оставалось бесстрастным, но Даниил заметил, как дрогнули ресницы.

— Вы верите, что это возможно? — спросила она.

— Я не знаю. Но я хочу попробовать. Мне... нужно. Так же, как вам.

Она чуть склонила голову к плечу — тот самый механический жест, который он заметил раньше. Но теперь он показался ему не кукольным, а скорее трогательным — как у человека, который разучился выражать эмоции телом и вынужден заново изобретать язык жестов.

— Скажите, — произнесла она задумчиво, — а что нужно вам? Вы ведь не просто так ищете модель. У вас было объявление. Вы ищете кого-то особенного. Почему?

Даниил отвернулся, прошелся по мастерской. Остановился у бюста Аглаи, провел по нему ладонью — все та же вата.

— Я теряю осязание, — сказал он глухо. — Не так, как вы — у меня нет врожденной патологии. Это... случилось. Психосоматика, говорят врачи. Мои руки перестали чувствовать текстуру, объем, тонкие нюансы. Я скульптор-гиперреалист, Ника. Моя работа на девяносто процентов состоит из осязания. Я должен пальцами ощущать каждую пору, каждую морщинку. Без этого мои работы — мертвые слепки. Как та глина, которую вы трогали. И я подумал... — он запнулся. — Я подумал, что если я встречу человека, который чувствует иначе, который может провести меня в мир эмоций, в то время как я буду пытаться пробудить его тело... возможно, мы сможем исцелить друг друга.

Тишина в мастерской стала почти осязаемой. Ника не отвечала, и Даниил боялся обернуться, боясь увидеть в ее глазах насмешку или жалость. Но когда он все же повернулся, она стояла все так же неподвижно, только по щекам ее текли слезы — две блестящие дорожки в резком свете лампы. Она не плакала — она просто плакала, беззвучно и без всякого выражения на лице.

— Что с вами? — он шагнул к ней.

— Ничего. — Она поднесла руку к щеке, коснулась влаги, посмотрела на мокрые пальцы с тем же отстраненным любопытством. — Просто у вас сейчас мажор. Соль мажор. Надежда. Я давно не слышала надежды.

Он стоял перед ней, растерянный и потрясенный, и чувствовал, как в груди зарождается нечто, чему он пока не мог дать имени. Это было страшно — страшнее, чем творческий кризис, страшнее, чем потеря дара. Это было начало пути, с которого невозможно свернуть.

— Значит, договорились? — спросил он хрипло.

— Договорились, — ответила она, и по ее лицу скользнула тень улыбки — или это только показалось в колеблющемся свете?

Она начала одеваться — молча, все так же механически. Даниил смотрел, как исчезает под тканью это странное, не-вполне-живое тело, и думал о том, что с этой минуты его жизнь изменится безвозвратно. Он не знал еще, какими методами будет «лепить» ее чувства, не знал, до каких границ готов пойти в своем эксперименте. Но одно он знал точно: завтра, когда она придет снова, он начнет. С чего именно — с глины? с прикосновений? с боли? — покажет время.

Ника зашнуровала ботинки, накинула плащ и направилась к выходу. У двери обернулась.

— Даниил, — сказала она, и ее низкий голос прозвучал почти интимно в пустом пространстве. — Я хочу попросить вас об одной вещи.

— Да?

— Не бойтесь сделать мне больно. По-настоящему больно. Если есть хоть один шанс, что я почувствую... я хочу его использовать.

Он кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Дверь закрылась за ней с мягким щелчком. Даниил остался один в мастерской, среди незавершенных статуй, и долго стоял, глядя на то место, где только что была она. Воздух еще хранил запах дождя и чего-то неуловимого — не духов, не мыла. Может, просто запах ее отсутствия.

Он подошел к бюсту Аглаи. Прикоснулся к глине — и впервые за много недель ему показалось, что кончики пальцев уловили нечто помимо давления. Слабое, едва заметное тепло, исходящее будто бы изнутри материала. Или это разыгралось воображение?

Он не знал. Но когда лег спать под утро, в его груди впервые за долгое время теплилось нечто, отдаленно напоминающее предвкушение. Завтра она придет. Завтра начнется их странный, пугающий, невозможный эксперимент. Эксперимент на грани между искусством и болью, между исцелением и разрушением.

А за окном выл ветер, и старый дом скрипел, как корабль в открытом море. Мастерская затихла. Глина ждала.

«Кожа и тень»

Глава вторая

Утро вытекло из-за горизонта медленно, словно гуашь, разведенная в слишком большом количестве воды. Серый свет затопил мастерскую, просочился сквозь немытые окна, лег на глиняные лица незавершенных статуй, и Даниилу показалось, что они оживают в этом рассеянном сумраке — не по-настоящему, а так, как оживают тени в колеблющемся пламени свечи. Он проснулся на продавленном диване в углу мастерской, куда рухнул под утро, даже не поднявшись в квартиру. Шея затекла, во рту стоял металлический привкус усталости, но сознание было ясным, как никогда за последние месяцы. Первая мысль, пронзившая его, едва он открыл глаза: «Она придет».

Он сел, растирая лицо ладонями. Щетина колола пальцы, и он на мгновение задержал руки у щек, прислушиваясь к ощущениям. Колется. Это хорошо. Это значит, что нервные окончания еще живы, что глубокая чувствительность не ушла. Но тонкая — та самая, что различает шелк и наждак, теплое дыхание и сквозняк, — молчала. Он провел пальцами по обивке дивана: шершавая ткань, стертая до основы. Фактура узнавалась памятью, а не нервами. Как вчера. Как месяц назад. Но сегодня это не вызвало привычного отчаяния. Потому что сегодня что-то должно было измениться.

Он встал и первым делом подошел к бюсту Аглаи. Глина за ночь слегка подсохла, поверхность посветлела. Даниил прикоснулся к ней — и снова то же смутное тепло, которое почувствовал ему накануне. Или не почувдилось? Он надавил большим пальцем на скулу балерины, закрыл глаза, попытался «услышать» материал. Где-то глубоко-глубоко, на границе сознания, будто бы шевельнулась слабая вибрация. Словно глина была не совсем мертва. Словно она помнила его руки и ждала их возвращения. Он не знал, правда это или самовнушение. Но это было лучше, чем ничего.

До прихода Ники оставалось несколько часов. Он поднялся в квартиру — три комнаты на втором этаже, обставленные аскетично, почти по-спартански: кровать, стол, книжные полки, забитые альбомами по анатомии и искусству. Вера, когда жила здесь, пыталась добавить уюта — вешала занавески, расставляла свечи, приносила цветы в горшках. После ее ухода цветы засохли, свечи он сжег в одну из бессонных ночей, а занавески снял, потому что они собирали пыль. Квартира стала такой же голой, как его мастерская, — функциональной оболочкой для тела, не более. Он не замечал этого раньше, но сегодня отсутствие уюта резануло глаз. Может, потому что вчера в мастерской появилось нечто, не вписывающееся в привычный аскетизм, — присутствие живого человека, которому не все равно.

Он принял душ, стоял под горячими струями, закрыв глаза, и думал о ней. О Нике. О том, как она стояла на подиуме — абсолютно неподвижная, беззащитная в своей нечувствительности, и одновременно защищенная ею же, как броней. О слезах, которые текли по ее лицу без всякого выражения. О том, как она сказала: «Не бойтесь сделать мне больно». И о том, как в нем самом отозвалась эта просьба — темным, глубоким резонансом, который он не хотел анализировать. Боялся анализировать.

Вытираясь жестким полотенцем, он поймал свое отражение в зеркале. Высокий, жилистый мужчина с начинающей пробиваться сединой на висках, с резкими складками у рта, которые залегли за последние полгода. Глаза — серо-зеленые, воспаленные, но сегодня в них горел какой-то новый огонек. Глаза человека, у которого появилась цель. Или одержимость? Он не знал. Он отвернулся от зеркала и пошел одеваться.

В девять утра он уже был в мастерской. Заварил себе крепкий кофе, открыл окно, впус- тив сырой октябрьский воздух, и начал готовить рабочее место. Снял с каркаса «Скорбящей»

старую глину — она пошла трещинами от долгого бездействия и уже не годилась для тонкой работы. Оголил проволочный скелет, и тот выглядел зловеще, как останки неведомого существа. Затем размял свежую глину — серую, жирную, с характерным запахом сырой земли и подвала. Он мял ее долго, с ожесточением, пытаясь разбудить пальцы. Глина поддавалась, прогревалась от тепла рук, но обратной связи все не было. Только давление. Только сопротивление. Без оттенков.

В дверь постучали ровно в десять. Он открыл и увидел Нику. Сегодня она была в длинном сером пальто, из-под которого выглядывало то же черное платье или похожее. Волосы распущены — пепельные пряди спадали на плечи, и в них поблескивали капли недавно прошедшего дождя. Лицо бледное, как всегда, но Даниилу показалось, что под глазами залегли тени — она тоже не спала. В руках она держала небольшую холщовую сумку.

— Доброе утро, — произнесла она своим низким, безэмоциональным голосом.

— Доброе. Проходите.

Она переступила порог и оглядела мастерскую. Взгляд задержался на обнаженном каркасе «Скорбящей», затем переместился на размятую глину, лежащую на рабочем столе.

— Вы начали без меня? — спросила она.

— Это подготовка. Сама работа начнется с вами. — Он закрыл дверь. — Вы завтракали?

— Я не голодна.

— Вам нужно есть. Вы слишком худая.

Она посмотрела на него, и в ее прозрачных глазах мелькнуло что-то похожее на удивление.

— Зачем вам заботиться о моем весе?

— Затем, что вы теперь моя модель. Мне нужно, чтобы вы были в форме. Изможденная натура — это интересно, но не тогда, когда модель падает в обморок на третьем часу позирования.

Ника чуть склонила голову набок — знакомый механический жест.

— Я не падаю в обмороки. Мое тело не чувствует слабости. Оно может работать на пределе очень долго. Это одно из преимуществ моей особенности.

Даниил почувствовал легкий холодок от этих слов. «Может работать на пределе очень долго». Как машина. Как инструмент. Он понимал, что она говорит о себе без жалости, просто констатируя факт, но от этого факта веяло жутью. Человек, не знающий усталости, не знающий боли, — идеальный работник. Или идеальная жертва.

— И все же, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал мягко, — я попрошу вас есть нормально. Хотя бы ради меня. Чтобы я не отвлекался.

Она кивнула — коротко, по-деловому. Затем, не спрашивая разрешения, сняла пальто, повесила на крюк рядом с его плащом, стянула ботинки. Осталась босиком, в черном платье, которое сегодня показалось Даниилу чуть более облегающим, чем вчерашнее. Или, может, он просто начал замечать контуры ее тела острее.

— С чего начнем? — спросила она, и в голосе ее не было ни страха, ни предвкушения. Только готовность.

Даниил взял паузу. Он много думал об этом ночью и пришел к выводу, что обычное позирование здесь не подойдет. Ему нужно было понять ее — не просто как форму, но как существо, лишенное осязания и обладающее взамен чем-то иным. Ему нужно было нащупать

каналы, по которым можно достучаться до ее запертого восприятия. И первый шаг должен быть простым. Базовым.

— Сегодня мы не будем лепить, — сказал он. — Сегодня мы будем знакомиться. Я хочу провести несколько тестов. Понять границы вашей нечувствительности. И вашей... сверхчувствительности.

Ника насторожилась — если можно назвать настороженностью едва уловимое напряжение в уголках ее бледных губ.

— Какие тесты?

— Сначала — простые. Я буду прикасаться к вам разными предметами. Вы не будете видеть, чем именно. Вы будете говорить мне, чувствуете ли вы что-нибудь. Хотя бы тень ощущения. Хотя бы намек.

Она подумала и кивнула.

— Хорошо. Мне закрыть глаза?

— Да. И повернитесь спиной.

Она подчинилась — повернулась, закрыла глаза. Ее спина под черной тканью платья была прямая, как струна. Даниил подошел к столу, где лежали его инструменты и всякая всячина, накопившаяся за годы. Выбрал мягкую беличью кисть — пушистую, почти невесомую. Подошел к Нике сзади и осторожно провел кисточкой по ее обнаженной шее, чуть ниже линии волос.

— Что-нибудь?

— Нет.

Он сменил инструмент — взял кусочек наждачной бумаги, мелкозернистой, но все же шершавой. Коснулся того же места — и надавил чуть сильнее.

— Ничего.

Он взял металлический шпатель, холодный и гладкий, приложил плашмя к ее плечу поверх платья, потом — к открытому участку руки.

— Ничего. Мне кажется, или вы надеялись, что я внезапно исцелюсь от прикосновения железа?

В ее голосе послышалось что-то похожее на иронию. Даниил хмыкнул.

— Я должен проверить все варианты. Даже самые примитивные.

Он прошелся по мастерской, размышляя. Обычные тактильные стимулы не работали — это было ясно с самого начала. Она не чувствовала ни легких касаний, ни грубых, ни гладких, ни шершавых. Но она говорила, что может ощущать глубокое давление и, возможно, сильную боль. И еще она говорила об эмоциях. Значит, вход в ее систему восприятия лежал не через кожу, а через что-то иное. Через то, что глубже.

— Откройте глаза, — сказал он.

Ника открыла и обернулась. Ее лицо было по-прежнему бесстрастно.

— Теперь другой тест. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о себе. Не факты — факты я могу найти в медицинской энциклопедии. Расскажите, каково это — жить в вашем мире. Как вы узнали, что вы другая? Как вы ориентируетесь в пространстве? Что вы видите, чего не вижу я?

Она помолчала, перебирая край рукава. Жест был почти обычным, почти человеческим, и Даниил поймал себя на том, что радуется ему.

— Это долгая история, — сказала она.

— У нас много времени.

Ника прошла по мастерской, остановилась у окна. Серый свет обрисовал ее профиль — острый, точеный, как на медали. Когда она заговорила, голос ее звучал глухо, словно из соседней комнаты.

— Я родилась в небольшом городе, далеко отсюда. Родители долго не понимали, что со мной что-то не так. Мама говорила, что я была слишком спокойным ребенком. Не плакала, когда мне меняли пеленки. Не ежилась, когда меня купали в прохладной воде. Не вздрагивала от громких звуков. Думали — ангельский характер. Потом заметили, что я не реагирую на прикосновения. Совсем. Мама могла гладить меня по голове — я не оборачивалась. Папа брал на руки — я не лгнула к нему, как другие дети. Решили, что я аутистка. Водили по врачам, ставили диагнозы, лечили. Ничего не помогало. Потом один невролог догадался проверить тактильную чувствительность. Иглами, током, горячим и холодным. Я ничего не чувствовала. Тогда поставили окончательный диагноз: врожденная сенсорная невропатия, изолированная форма. Редчайший случай. Врачи из столицы приезжали на меня смотреть, как на музейный экспонат.

Она говорила без надрыва, но в ее словах была такая глубина одиночества, что Даниилу стало не по себе. Ребенок, который не чувствовал материнской ласки. Девочка, которая не знала, что такое тепло объятий. Подросток, для которого первый поцелуй был просто соприкосновением двух поверхностей.

— А эмоции? Когда вы поняли, что чувствуете чужие?

Ника повернулась от окна. Теперь ее лицо было в тени, и только глаза поблескивали странным, почти фосфоресцирующим светом.

— Это проявилось позже. Годам к семи. Я вдруг начала замечать, что знаю, что чувствует мама, даже если она молчит и стоит ко мне спиной. Я знала, когда она расстроена, когда сердится, когда боится. Я думала, так у всех. Но однажды сказала ей: «Не плачь, папа скоро вернется», — она как раз стояла у окна и думала о том, что отец задерживается в командировке. И она испугалась. Сильно испугалась. Спросила, откуда я знаю. Я не смогла объяснить. Просто чувствовала — от нее исходило... облако печали. Как туман. Как музыка в миноре. И тогда меня снова повели по врачам. На этот раз — психиатрам.

Она сделала паузу, и Даниил увидел, как ее пальцы, лежащие на подоконнике, чуть сжались — первый спонтанный жест за все утро.

— Психиатры не нашли у меня сумасшествия. Зато нашли другое. Эмоциональная гиперчувствительность — что-то вроде компенсаторного механизма. Мой мозг, лишенный сигналов от кожи, перенастроился на восприятие иных волн. Я не могу объяснить это научно. Я не ученый. Но я знаю, что каждый человек излучает. Вы излучаете прямо сейчас. Смесь волнения, надежды, подавленного страха и — любопытства. Очень сильного любопытства, почти голода.

Даниил отвел взгляд. Она читала его, как открытую книгу, и это было некомфортно. Но в то же время — невероятно полезно для его целей. Если она действительно чувствует эмоциональный фон с такой точностью, он может использовать это как инструмент. Как камертон, по которому будет настраивать свою работу.

— Продолжайте, — попросил он. — Что было дальше?

— Дальше было обычное детство, насколько оно вообще могло быть обычным. Я научилась маскироваться. Наблюдать за другими людьми и копировать их реакции. Если кто-то прикасался ко мне, я смотрела на выражение его лица и понимала, что должна почувствовать. Легкое касание — улыбка или нейтрально. Сильное — возможно, боль, значит, надо отстраниться или показать, что неприятно. Я выучила эту азбуку наизусть. Большинство знакомых до сих пор не знают о моей особенности. Думают, что я просто сдержанная. Немного холодная.

— А друзья? Близкие отношения?

Она покачала головой.

— Друзья были. Но дружба требует взаимности, а я не могу дать то, что другие получают от прикосновений. Объятия для меня — пустой ритуал. Держать за руку — бессмысленная трата мышечной энергии. Когда подруга плачет на плече, я не чувствую ни тепла ее слез, ни тяжести ее головы. Я только слышу ее эмоциональную волну — и это иногда невыносимо. Особенно если человек страдает по-настоящему. Это как слушать крик, который не прекращается.

— А мужчины? — спросил Даниил тише, чем собирался.

Ника посмотрела на него долгим, изучающим взглядом.

— Вы хотите знать, была ли у меня сексуальная жизнь?

Он не отвел глаз, хотя внутри что-то дрогнуло.

— Да. Это важно для понимания вашего телесного опыта. Или его отсутствия.

Она вернулась на середину мастерской, встала у подиума, но не поднялась на него, а только оперлась рукой о деревянный край.

— Был один опыт. В университете. Молодой человек, который за мной ухаживал. Он был... настойчив. И я подумала: может быть, через секс я что-то почувствую. В книгах пишут, что это вершина телесных ощущений. Экстаз. Слияние. Я хотела проверить. — Она замолчала, и по ее лицу пробежала тень — почти незаметная. — Ничего. Я лежала и смотрела в потолок, пока он старался. Я не чувствовала ни его прикосновений, ни того, что он делал внутри. Единственное, что я ощущала, — его эмоции. Возбуждение, смешанное с разочарованием. Он чувствовал, что я не отвечаю. Это его злило, а потом — гасило желание. Когда он закончил, я сказала: «Спасибо, было интересно». Наверное, это прозвучало чудовищно. Он больше не звонил.

Даниил стоял, не зная, что сказать. История, рассказанная ее ровным голосом, была страшнее любой трагедии. Женщина, которая не может чувствовать ни ласки, ни боли, ни наслаждения. Живой мертвец в мире живых. И в то же время — острейший эмоциональный приемник, улавливающий чужие вибрации так чутко, как не снилось ни одному эмпату. Чудовищное сочетание. Дар и проклятие в одном флаконе.

— Теперь вы понимаете, — сказала она, — почему я здесь. Почему я согласилась на ваш эксперимент. Вы, Даниил, одержимы телом. Вы умеете придавать плоть бесформенному. Если кто-то и может научить мое тело чувствовать — это вы. А я... я могу стать вашими руками. Вашими нервами. Я буду рассказывать вам об эмоциях, запертых в ваших моделях, в вашей глине, в вас самих. Я буду вашим камертоном.

Он молчал. В голове его складывался план — смелый, рискованный, балансирующий на грани этики и чего-то запредельного. Но другого пути он не видел. Обычная тактильная стимуляция не работала. Значит, нужно идти глубже. Туда, где тело граничит с психикой, где боль превращается в сигнал, а сигнал — в осознание.

— Хорошо, — произнес он наконец. — Тогда давайте приступим к настоящему тесту. Я хочу попробовать нечто более... интенсивное.

Ника не спросила, что именно. Она просто выпрямилась, отошла от подиума и встала посреди комнаты, готовая ко всему.

— Раздевайтесь, — сказал Даниил. — Полностью. Сегодня я буду изучать ваше тело. Не как скульптор — как врач. Мне нужно составить карту вашей нечувствительности. Понять, есть ли зоны, где сохранилась хотя бы остаточная реакция. А затем — попытаться их разбудить.

Она начала раздеваться без тени смущения — так же, как вчера. Платье, белье — все полетело на стул. Через минуту она стояла перед ним обнаженная, прямая, как пламя свечи в безветренную погоду. Даниил видел ее уже второй раз, но сейчас, при дневном свете, она казалась еще более хрупкой и нереальной. Бледная кожа, просвечивающая голубизной вен на висках, на запястьях, на внутренней стороне бедер. Ребра, проступающие под грудью, как клавиши неведомого инструмента. Маленькая грудь с бледно-розовыми сосками, которые сжались от прохлады — чисто сосудистая реакция, не имеющая отношения к ощущениям. И шрамы.

Теперь он заметил их — несколько тонких белых линий на левом предплечье, слишком ровных, чтобы быть случайными.

— Откуда это? — спросил он, указывая на шрамы.

— Подростковый период. — Она ответила без запинки, как будто ждала вопроса. — Я пыталась понять, есть ли предел. Сможет ли тело, не чувствующее боли, защитить себя. Оно не смогло. Я резала глубже и глубже, пока не задела вену. Кровь было не остановить, вызвали скорую. После этого я перестала экспериментировать. Поняла, что убить себя легко — достаточно одного неосторожного движения, которое я даже не замечу. А умирать я не хочу. По крайней мере, пока.

Даниил почувствовал, как холодок пробежал по спине. Подросток, который режет себя просто чтобы проверить, заболит ли. И не получающий ответа. Это было выше его понимания. Он подошел ближе, взял ее за левое запястье, повернул руку к свету. Шрамы были старые, побелевшие, но все еще заметные. Он провел по ним большим пальцем — безотчетно, почти нежно.

— Вы сейчас что-то чувствуете? — спросил он.

— Эмоционально — да. Ваше прикосновение наполнено... печалью. Жалостью. И любопытством. Но кожей — нет.

— А если так?

Он надавил на шрам ногтем, сильно, до побеления кожи вокруг. Ника не шелохнулась.

— Давление? — спросил он.

— Глубокое давление я иногда различаю. Сейчас — смутно. Как если бы на руку положили что-то тяжелое. Но не боль.

Он отпустил ее запястье, отступил на шаг.

— Я хочу попробовать температурный тест. Подойдите к столу.

Ника подошла, все так же бесстрастно. Даниил включил электроплитку, на которой иногда грел парафин для формовки, и поставил на нее металлический поднос. Затем взял кубик льда из холодильника, завернул в тонкую ткань.

— Сначала холод. Закройте глаза.

Она закрыла. Он приложил лед к ее плечу — кожа немедленно покрылась мурашками, но Ника молчала.

— Что-нибудь?

— Ничего. Только ваше ожидание. Вы ждете, что я вскрикну.

Он убрал лед, подождал, пока поднос на плитке нагреется — не раскалится, но станет ощутимо горячим. Коснулся его пальцем — терпимо, градусов пятьдесят. Взял Нику за руку и приложил ее ладонь к металлу.

— А теперь?

Она стояла неподвижно, и Даниил с ужасом смотрел, как ее кожа, прижатая к горячему металлу, начинает краснеть. Ника не отдергивала руку.

— Ника, вы чувствуете хоть что-нибудь? Горячо?

Молчание. Потом:

— Я чувствую вашу тревогу. Она громкая. Почти крик. Но кожей — нет. — И через паузу, все так же спокойно: — Кажется, пахнет горелым.

Даниил рванул ее руку от подноса. На ладони уже вздувался волдырь — ожог первой степени, болезненный для любого нормального человека. Ника посмотрела на свою покрасневшую ладонь с отстраненным интересом.

— Надо же, — сказала она. — Кожа реагирует. Сосуды расширяются, жидкость скапливается. Тело знает, что ему больно. Только я не знаю.

Он схватил ее за плечи, развернул к себе лицом. Его трясло.

— Вы понимаете, что могли получить серьезный ожог? Вы даже не заметили бы, как у вас сгорела рука!

— Да, — ответила она спокойно. — Я знаю. Поэтому я и пришла к вам. Потому что я устала жить в теле, которое меня не защищает. Я хочу чувствовать боль. Хочу чувствовать хоть что-нибудь. Если для этого нужно обжечься, порезаться, упасть — я готова. Но я не хочу делать это в одиночку. Мне нужен свидетель. Мне нужен... проводник.

У Даниила перехватило горло. Он отпустил ее плечи и отошел к столу, где лежала аптечка. Достал пантеноловую мазь, осторожно обработал ожог, забинтовал ладонь. Ника следила за его манипуляциями с любопытством.

— Зачем вы это делаете? — спросила она. — Я все равно не чувствую.

— Потому что ваше тело — теперь и мой инструмент. — Он старался говорить сухо, но голос предательски дрожал. — Я не могу допустить, чтобы инструмент вышел из строя раньше времени.

— Красиво сказано. — В ее голосе снова послышалась тень иронии. — Но я слышу за этими словами другое. Вы заботитесь. Это странно. Приятно и странно.

Закончив с перевязкой, Даниил выпрямился и посмотрел на Нику. Она стояла перед ним, обнаженная, с забинтованной ладонью, бледная и безмятежная, как сошедшая с алтаря жрица. И в этот момент он почувствовал — не кожей, а где-то внутри, — что их связь уже не просто отношения художника и модели. Между ними завязывалось нечто более глубокое, более опасное. Симбиоз. Взаимопроникновение. Танец на краю.

— На сегодня хватит тестов, — сказал он. — Одевайтесь. Мы продолжим завтра.

Ника не стала спорить. Оделась молча, аккуратно, не потревожив повязку. Уже стоя у двери, она обернулась.

— Даниил, можно вопрос?

— Да.

— Почему вы боитесь себя?

Он замер. Вопрос попал в цель с точностью лазера.

— Я не боюсь, — ответил он, но сам услышал фальшь в своем голосе.

— Боитесь. Я чувствую. Это страх не передо мной и не перед ситуацией. Это страх перед тем, что вы можете сделать. Перед тем, что вы хотите сделать. — Она помолчала. — Это нормально. Я тоже боюсь. Но мой страх — другого цвета. Я боюсь, что ничего не выйдет. Что я навсегда останусь запертой в этой... колбе. А вы боитесь, что выйдет. Что вы перейдете черту. И вам понравится.

Она ушла. Дверь закрылась. Даниил остался стоять посреди мастерской, и слова Ники звенели в воздухе, как удары камертона. «Вы боитесь, что перейдете черту. И вам понравится». Она была права, черт возьми. Она была дьявольски, пугающе права.

Следующие несколько дней прошли в ритме интенсивного исследования. Даниил разработал систему: утром — позирование и лепка, днем — тесты, вечером — разговоры. Он хотел узнать о Нике все: как она спит (плохо, без сновидений, потому что сновидения требуют телесных ощущений), что она ест (без аппетита, просто чтобы поддерживать силы), как она ориентируется в темноте (по памяти и по эмоциональному фону окружающих — она «слышит»

чужие ауры даже сквозь стены). Он выяснил, что у нее нет родителей — мать умерла, когда Нике было девятнадцать, отец спился и исчез. Что она училась на философском факультете, но бросила — не потому что было трудно, а потому что академическая среда казалась ей пресной, лишенной подлинных эмоций. Что она живет одна в съемной квартире на окраине и зарабатывает странными подработками: то ли переводами, то ли редактурой — она не вдавалась в детали.

Параллельно он лепил. На третий день он начал ее портрет — для начала, погрудный, чтобы освоиться с анатомией ее лица. Ника позировала терпеливо, часами не меняя позы, не жалуясь на усталость. Ее способность к неподвижности была сверхъестественной — ни один мускул не дрожал, ни одно веко не опускалось раньше времени. Она смотрела в пустоту остановившимся взглядом, и Даниил, работая над ее бюстом, все чаще ловил себя на мысли, что лепит не просто женщину — лепит отсутствие. Пустоту, принявшую форму человеческого лица.

Глина под его пальцами оставалась глухой. По-прежнему — только давление, только сопротивление. Но что-то изменилось. Теперь, когда он работал над портретом Ники, он мог спрашивать ее: «Что ты чувствуешь? Какая сейчас эмоция?» — и она отвечала. Она описывала его собственное состояние, и это было похоже на зеркало, в котором отражался невидимый спектр. «Ты напряжен, — говорила она. — Твоя тревога — оранжевая с черными прожилками. Ты хочешь, чтобы глина ожила, но боишься, что не сможешь». И он, слыша это, вдруг начинал понимать, куда нужно надавить, где добавить объема, где сгладить. Ника стала его обратной связью — не тактильной, но эмоциональной. Он лепил не форму, а чувство, которое форма вызывала в ней. И портрет получался странным — не то чтобы непохожим, но каким-то более настоящим, чем сама Ника. Как будто он лепил не ее лицо, а ее душу, проступающую сквозь кости и мышцы.

Однако Даниил не забывал о главной цели. Если Ника хотела почувствовать свое тело, одних разговоров и лепки было недостаточно. Нужно было идти глубже. В прямом смысле — в глубину тканей, туда, где заканчивается кожа и начинается живая, кровоточащая плоть. И однажды вечером, после особенно долгого сеанса, он решился на следующий шаг.

— Сегодня мы попробуем новое упражнение, — сказал он, когда Ника, размяв затекшие мышцы (она не чувствовала затекания, но знала, что мышцам нужна разминка), собиралась уходить.

— Какое?

— Я хочу поработать с твоим восприятием боли. Настоящей боли. Не той, что мы пробова́ли раньше, — ожоги, порезы. Это все поверхностно. Я хочу попробовать нечто более... контролируемое. Иглы.

Ника замерла. Ее глаза блеснули.

— Акупунктура?

— Не совсем. Я не врач. Но я знаю анатомию. Я знаю, где проходят нервы, где находятся болевые точки. Я хочу стимулировать их точечно. Возможно, если раздражать нерв напрямую, сигнал пробьется к мозгу даже в обход кожи.

— Ты хочешь втыкать в меня иглы? — спросила она без испуга, скорее с исследовательским интересом.

— Да. Тонкие, стерильные. Я не поврежу ткани. Но боль будет. По крайней мере, должна быть. Если твои нервы вообще способны ее проводить.

Ника подумала. Затем кивнула.

— Хорошо. Когда?

— Прямо сейчас. Если ты готова.

Она была готова. Она снова разделась — на этот раз без просьбы, сама, привычно, как будто нагота в этой мастерской стала для нее естественным состоянием. Даниил попросил ее

лечь на старую кушетку, которую он когда-то использовал для натурщиц в сложных позах. Ника легла на спину, вытянулась, закрыла глаза. Ее тело на темной обивке казалось вырезанным из слоновой кости.

Даниил принес коробочку с акупунктурными иглами — тонкими, как волос, купленными когда-то для анатомических штудий. Протер спиртом ее плечо, ключицу, участок на внутренней стороне предплечья. Все места, где нервы проходят близко к поверхности.

— Я начну с малого. Скажи сразу, если почувствуешь хоть что-то.

Она кивнула, не открывая глаз. Даниил взял первую иглу, приставил к коже над ключицей — туда, где проходит надключичный нерв. Задержал дыхание. И ввел иглу.

Кожа чуть подалась, затем игла проскользнула в ткани. Ника не шелохнулась. Он вводил иглу медленно, миллиметр за миллиметром, пока не достиг нужной глубины — там, где теоретически нерв должен был отозваться резкой болью.

— Что-нибудь?

— Ничего. Только твоё волнение. Оно сейчас цвета индиго.

Он вынул иглу, перешел к предплечью. Там проходил срединный нерв — один из самых чувствительных. Он нащупал точку, ввел иглу глубже. Ника молчала.

— А сейчас?

— Нет. Но ты разочарован. Твоя аура тускнеет.

Даниил выругался про себя. Неужели даже прямая стимуляция нервов не работает? Тогда что же остается? Он обошел кушетку, остановился у ее ног. Длинные, стройные ноги с выступающими лодыжками. Он вспомнил анатомический атлас: подколенная ямка, большеберцовый нерв. Очень болезненная зона.

— Я попробую еще одно место. Будет сильнее.

Она не ответила. Он ввел иглу в подколенную ямку — и вдруг Ника вздрогнула. Не сильно, едва заметно, но Даниил уловил это движение всем своим обостренным вниманием.

— Ты дернулась! — воскликнул он. — Ты что-то почувствовала?

Ника открыла глаза. В них было странное выражение — смесь удивления и чего-то похожего на голод.

— Не боль, — сказала она медленно, как будто пробуя слова на вкус. — Но что-то... что-то прошло. Как электрический разряд. Очень слабый. Как будто там, глубоко, зажглась искра и тут же погасла.

Даниил почувствовал, как сердце забилося быстрее. Значит, не все потеряно. Значит, глубинные нервы еще способны проводить сигналы — пусть слабые, искаженные, но способны. Просто нужно усилить стимул. Намного усилить.

Он вынул иглу. Руки его дрожали, но голова была ясной. Он понимал, что стоит на пороге опасной территории. Боль — это инструмент, которым легко злоупотребить. Особенно когда твоя модель сама просит об этом. Но с другой стороны — разве не этого хотела Ника? Разве не за этим она пришла? «Не бойтесь сделать мне больно. По-настоящему больно».

— На сегодня хватит, — сказал он, откладывая иглы. — Мы нашли зону, которая реагирует. Это прорыв. Но я не хочу форсировать.

Ника села на кушетку, потирая подколенную ямку — жест был скорее рефлекторным, чем осознанным.

— Почему? Если есть прогресс, надо продолжать.

— Потому что я должен понять, как именно стимулировать нервы, не повреждая их. Это требует подготовки. И потом... — он замялся. — Я должен разобраться в себе. В том, что я чувствую, когда делаю тебе больно.

Она посмотрела на него долгим, пронизывающим взглядом.

— Ты чувствуешь возбуждение, — сказала она тихо. — Не сексуальное. Творческое. Ты чувствуешь, что приближаешься к разгадке. И это опьяняет.

Он не ответил. Потому что это было правдой.

С того вечера их сеансы изменились. Даниил больше не ограничивался лепкой и разговорами. Он разработал целую программу сенсорной стимуляции: контрастные температуры, вибрация, электростимуляция слабыми токами (он нашел старый прибор для физиотерапии), точечное давление на нервные узлы. Ника терпела все с поразительной стойкостью, и иногда — очень редко — ему удавалось вызвать у нее смутное ощущение. То искру в глубине мышц, то тень вибрации в костях, то странное, почти неуловимое чувство распираания, когда он сильно давил на определенные точки. Она называла это «призраками ощущений» — слабыми, размытыми, но реальными. И каждый такой призрак был для нее драгоценностью. Она записывала их в дневник, который завела специально для их эксперимента: «15 октября. Внутренняя сторона бедра. Давление. Ощутила что-то похожее на тепло, идущее изнутри. Длилось три секунды. Цвет — оранжевый». «17 октября. Лодыжка. Электростимуляция. Короткое сокращение мышцы и смутное чувство «движения» внутри. Как будто там что-то живет».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.